

Павел Крусанов

УКУС
АНГЕЛА



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

Глава 1

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ РУССКОГО ПОЛЯ

...истинная правда похожа на её отсутствие.

Дао дэ цзин

Человек, поцеловавший Джан Третью в губы, назвался Никитой. У него были щегольские усы с подкрученными кверху жалами и шитые золотом погоны на парадном фисташковом мундире, выдававшем принадлежность хозяина к отчаянной гвардии Воинов Блеска. Джан, как и все подростки, мнящие себя опытнее собственной невинности, была довольно вульгарна, но всё же мила и опрятна. Империя праздновала День Воссоединения, и Джан Третья впервые целовалась с посторонним. Позже молва, не ведая обычаев старого Китая, где детей простолюдинов, дабы избежать путаницы, называли порядковым числительным, возвела её в знатный род и пожаловала в предки Сунь-Цзы вместе с его трактатом о военном искусстве. В действительности отец Третьей был чёрной кости – он владел рыбной лавкой на

окраине Хабаровска и славился тем, что, подбросив сазана, мог на лету вспороть ему брюхо и достать икру, не повредив ястыка.

Хунхузы, бежавшие некогда за Амур от карательных армий Поднебесной, обрели мир в северной державе, но за годы изгнания не забыли разбойную славу предков и заветы Чэн И, гласившие, что голод – беда малая, а попрание целомудрия – хуже смерти. Поэтому отец Джан Третьей, узнав, что его пятнадцатилетняя дочь ушла из дома к русскому офицеру, мастерски перерезал себе горло тесаком для разделки рыбы. Соседи говорили, будто он, уже мёртвый, с головой, отсечённой до позвоночника, продолжал грызть землю и кусать камни, покуда рот его не забился мусором и он больше не мог стиснуть челюсти.

Кроме усов, мундира и, будто сочинённой к случаю, фамилии Некитаев Никита имел сердце в груди и был не чужд благородной широте жеста и величию порыва. Тяготясь невольной виной, он пил водку двенадцать дней, пока наконец не увидел в углу комнаты синего чёрта и не понял, что пора остановиться, так как наверное знал: синих чертей не бывает. На тринадцатый день, к удивлению обитателей китайской слободы, он обвенчался с Джан Третьей по православному обряду, за час перед тем окрестив с приятелем-капитаном по июньским святцам невесту Ульяной.

Вскоре из Хабаровска гвардейского офицера перевели служить в Симферополь, где Джан Третья

родила ему дочь – лунолицую фею Ван Цзыдэн со стальными, как Ладога, глазами. В семье Некитаевых последние сто двенадцать лет родовыми женскими именами были Татьяна и Ольга, поэтому фею назвали Таней, что, безусловно, было приятно матери, так как имя созвучием напоминало ей о славной эпохе в истории застеленной лёссами отчизны. Родня Никиты предлагала Ульяне-Джан перебраться с дочерью в русский рай – имение Некитаевых под Порховом, где в погребе томились в неволе хрустящие рыжики и брусничное варенье, где липовая аллея выводила к озеру с кувшинками и стрекозами, где в лесу избывали свою тихую судьбу земляника и крепкий грибной народец и где за полуденным чаем можно было услышать: «Что-то мёду не хочется...» – но та, уже знакомая с нравами шалеющих без войны гвардейцев, не пожелала своею волей уступить мужа чарующим массандровским винам и тугозадым симферопольским проституткам.

Через два года после рождения Тани, сразив Европу триумфом русского экспедиционного корпуса в Мекране, а Америке бросив снежно-сахарную кость Аляски (продление аренды), империя решила, что пора сыграть на театре военных действий свою долгожданную пьесу. Так был предъявлен ультиматум турецкому султану. От цидулки сечевиков послание это отличалось только дипломатической манерностью и разве ещё тем, что было оно не ответом, а действием упреждающим. Османскому владыке и его золотокафтаным пашам

предлагалось немедленно обратиться с околпаченным фесками войском в азиатскую туретчину, дабы к империи, в силу исторического и конфессионального пристрастия, отошли Царьград со всей Восточною Фракией и полоса малоазийского берега шириной в двадцать вёрст от Ривакея до Трои. Зеркально повторив негодование России, отказавшейся два с лишним столетия назад вернуть оттоманцам Таврию, признать грузинского царя турецким подданным и согласиться на глумление в проливах, султан впал в неистовство. Империи это было на руку. После спешной эвакуации посольств, консульств и частных представительств Закавказские дивизии вступили в вилайеты Чорух и Карс, выбросив щупальца к Трапезунду и Эрзеруму. Одновременно с этим имперские эскадры блокировали турецкие порты на Понте, танковый корпус Воинов Ярости, размещённый в Болгарском царстве, взял Адрианополь, а высаженный под Орманлы десант при поддержке райи практически без боя прошёл до Теркоза. Дальнейшее – общеизвестно.

Война была в самом разгаре, когда Никита попал в севастопольский госпиталь с распоротым наискось животом: полк Некитаева первым вошёл в Царьград – там в отчаянных уличных боях османы вспомнили о своих чудаковато вогнутых ятаганах, которыми некогда покорили полмира впоследствии истреблённые Махмудом Вторым янычары. Не приходится сомневаться в тяжести его ран, однако Никита не был бы достоин сво-

его фисташкового мундира, если бы при первом удобном случае не сбежал из пропахшего хлоркой госпиталя в душистую постель Джан Третьей. Вероятно, при этом он в душе огорчился, что ему не нужно лезть к ней по плющу на четвёртый этаж, так как в Симферополе семейные офицеры квартировали в двухэтажных домишках.

Это была последняя ночь в его жизни, и он её не проспал. Швы разошлись, не выдержав упоительной битвы. На краю восторга хунхузку жарко облепили окровавленные кишки, и в неё ворвалось семя мужа, сердце которого уже не билось. Так, подобно Тристану, был зачат Иван Некитаев, прозванный людьми Чумой.

После освидетельствования героической смерти тело Никиты было перевезено в имение под Порховом, где его с воинскими почестями предали земле на семейном кладбище, заросшем ландышем, славянским папирусом – берёзой и образцово пламенеющей рябиной. После похорон Джан Третья с дочерью вернулась в Симферополь – чтобы, уложив в чемоданы свой скорбный вдовий скарб, окончательно перебраться в поместье Некитаевых. Этими печальными хлопотами она невольно спасла себе жизнь. Пока она тряслась в унылом и пыльном феодосийском поезде, время от времени стряхивая с наволочки угольную гарь, засланные Портой сипахи-смертники в один день вырезали родню и домочадцев всех офицеров гвардейского полка, первым ворвавшегося

в Истанбул. Сердце султана алкало отмщения неверным, дерзнувшим оспорить остатки наследия великого Махмеда Фатиха, разорившего узорную шкатулку Византии, поправшего пятой Бессарабию, Валахию, Крымское ханство и покорившего почти всю Анатолию. Из обречённых уцелели только те, кто волею судеб в тот злополучный день отлучились из дома.

Через два месяца Турция по Ростовскому миру уступила притязаниям империи, изложенным в ультиматуме, потому что к тому времени потеряла уже втрое больше. Единственное, что удалось отыграть Великой Порте, – это минареты Айя-Софии, которые были разобраны и вывезены в Анкару в обмен на военнопленных. Поздно встрепенувшаяся Англия была бессильна что-либо предпринять, и ей пришлось удовлетвориться щедрым даром победителя – племенным кобелём и двумя медалистками-суками редчайшей мериносовой породы. После заключения столь бесславного мира султан в слепой ярости казнил всю Оттоманскую Порту, начиная с великого визиря и кончая драгоманами рейс-эфенди, причём если осуждённый умирал на эшафоте меньше четырёх часов, то палач сам лишался головы.

Хунхузка Джан Третья – дочь рыботорговца и наследница дворянских владений Некитаевых – поселилась с луноликой Таней в обезлюдевшем имении. Оттуда, сутки спустя после родов, она перебралась в страну китайских духов: выносив дитя, зачатое

от мёртвого, и тем до конца исполнив долг перед едва не оскудевшей фамилией, она вышла майским вечером к озеру, по глади которого молочными завитками стелился туман, и старой косою вскрыла себе ярёмную жилу. Вместе с кровью из настезь отворённой вены вырвалась и скользнула в воду серебряная уклейка. За день до того Джан Третья завещала повитухе наречь сына Иваном, так как не успела узнать, какие мужские имена считались родовыми в семье её мужа, а волшебное имя Никита делить на двоих не хотела. Трёхлетней Тане и младенцу Ивану, обликом больше удавшемуся в отца, до обретения ими известного разумения уездная дворянская опека, за отсутствием близкой родни, определила в опекуны предводителя.

Уездный предводитель был дородным господином с опрятным румянцем на полных щеках и страстием к рубашкам со стоячими воротничками – при всякой вылазке в столицы он покупал их дюжинами, как носовые платки. Кроме доходного сада с пасекой и шестнадцати десятин леса по соседству с имением Некитаевых, предводитель владел кирпичным заводом в предместье Порхова, имел молоденькую русоволосую жену и задумчивого сына Петрушу годов шести с половиною. Последний явился на свет едва ли не беззаконно, ибо повитуха пророчила девочку, так что загодя подобрали ей карамельное имя – Марфинька. Фамилия опекуна была слегка кошачья, отнюдь не

по стати владельца, – Легкоступов. Касательно душевных качеств, отличался дворянский предводитель добросердечием, рассудительностью и тягой к пассивизму. В семье его считали природным философом, ибо за вечерним чаем, глядя на экран телевизора, где чужедальний ковбой снимал у коистра сапог и счастливо шевелил на ноге пальцами, Легкоступов говорил домашним: «Начнём с того, что Североамериканские Штаты неинтересны мне как собеседник – ведь им нечего вспомнить...» Или, листая альбом по живописи, внезапно замечал: «Великие британские художники придуманы британскими критиками, которые решили, что таковые должны быть». Имел предводитель и особый взгляд на универсум в целом: то, что явлено человеку в действительном мире сущего, – это, грубо говоря, и есть ад. Отвечая основному условию преисподней – наличию времени, которое не позволяет реально остановить мгновение, каким бы оно ни было (остановленный ад – больше не ад, ведь хуже уже не станет), жизнь выводит человека на прогулку по палитре ужаса, даёт оценитьжнейшие обертоны страданий, причём выдумывать ничего не приходится – существуй себе только. Место своего присутствия Легкоступов определял как срединный мир, из которого есть лишь два выхода – забвение и спасение. С забвением, кажется, всё было ясно, а вот спасение... Ключ к пониманию спасения он видел в древнем речении, частенько украшавшем надгробия египетской знати: «Мёрт-

вого имя назвать – всё равно что вернуть его к жизни». В подтверждение своей ереси Легкоступов приводил чуткую догадку Гоголя, поведшего Чичикова египетским путём, после чего плутовские купчие Павла Ивановича приобретали внятное сакральное значение. Иными словами, опуская нюансы, спасённый от забвения – это, собственно, и есть *спасённый*. В результате выходило, что спасение может быть праведным, неведь каким, вроде поминания в газете, и чудовищным, как у Саломеи и Нерона, – преимущества никто не имеет. Однако Легкоступов не делал из своей теории жизнеполагающих выводов и в порховском свете всегда считался почтенным христианином.

Зимой китайчатая Таня и маленький Иван, взявший от матери лишь нежную смуглоту кожи, жили в городском доме опекуна, а летом с Петрушей, женой предводителя, прислугой, гувернёром и нянею перебирались в поместье Некитаевых, обустроенное просторнее и лучше дачи Легкоступова. Иван был младшим в детской и, не понимая близких к осознанию половых ролей игр Петруши и сестры, одиноко копался в песке, мастерски возводя крепости и населяя их оловянным гарнизоном, строил дома из камешков и веток или в саду, под цветущей яблоней, разговаривал с воображёнными друзьями. Во всех его делах чувствовалась если не кротость, то некая отрадная мягкость, вытекающая из веры в изначальную доброту вещей. Но, сталкиваясь с грубой волей бытия, вера эта

неизбежно и уродливо коверкалась. Когда дела у Ивана шли не так, как ему хотелось, – властью старших, звавших к обеду или в постель, прерывалась игра или становились упрямыми предметы, – мягкость его уступала место пугающей ярости, страшному детскому нигилизму. Перемена, происходившая с ним в такие минуты, ясно показывала, что будущее его зависит от слепого случая: при удачном стечении обстоятельств он может стать лучшим из людей, но если что-то пойдёт не так – на свет явится чудовище.

Там, в имении Некитаевых, жадно впитывая разлитое вокруг ювенильное счастье, дети подолгу сидели в пьяном разнотравье на берегу озера, где после смерти Джан Третьей управляющий запретил окрестным мужикам ловить рыбу, и ждали – не выскочит ли из воды за мошкой серебряная уклейка. Там впервые заметили за Иваном странное бесчувствие к чужой жизни: расчленив целый луг кузнечиков, семи лет от роду он из любопытства выдавил пойманной ящерице глаза, до основания остриг когти кошке, съел живьём двух птенцов касатки и отрезал язык брехливой приبلудной дворянке. Воспоследовавшей кары ребёнок не понял – так можно наказывать воду за то, что порою течёт, а порой леденеет, и ожидать от неё раскаяния.

Окончив гимназию, Петруша проявил наследственную склонность к гуманитарным дисциплинам и уехал в ближайшую столицу, где поступил

в Университет, дабы обрести регулярные знания в области философии и классической, романской и славянской филологии с их многоликою гермевтикой. Таня, сама не владея кистью, чувственно вникала в живопись и потому, вслед за Петрушей, отправилась в Петербург, чтобы на факультете искусствоведения Академии художеств научиться понимать краски рассудком. Ивана с восьми лет опекун определил в кадетский корпус.

Пришло время, и случилось так, что кадет Иван Некитаев, после долгого отсутствия приехавший на вакации в имение, со всею полнотою не ведавших остратки чувств влюбился в собственную сестру. В ту пору ему только стукнуло шестнадцать, предмет же вожделений был тремя годами старше. Если событие это достойно розыска виновных, то прегрешение следовало бы возложить на девицу – в среде столичной богемы она обрела вкус к жестоким играм и запретным наслаждениям, которые, помимо страды на пажитях всякого рода художеств, сами доведённые до художества, порядочно оживляли будни сего бестрепетного племени.

Началось всё, как и должно, с пустяка.

Когда Иван – только что с автобуса – в зелёном кадетском мундире и нумерованной фуражке на куце остриженной голове появился на террасе дома, лунолика Таня, сидя у самовара и держа в нефритовых пальцах ромбик земелаха, пила чай

с мятой. Стояло ясное июньское утро, и два широких, с частым переплётom окна застеклённой террасы были распахнуты настежь. В третьё – закрытое – билась уловленная прозрачной западнёй крапивница. За столом с самоваром помимо сестры сидели Легкоступов-отец, рыхловатый торс которого был затянут в лиловую шёлковую рубаху со стоячим воротничком (по причине частичного совершеннолетия Тани он был нынче разжалован из опекуна в попечителя), его русоволосая жена, по-прежнему хорошенькая, и Легкоступов-сын, только что защитивший диплом, но уже успевший собрать в голове порядком складочек, чтобы не показывать ни мнимой учёной надменности, ни фальшивого участия к встречному-поперечному, ни иного признака сглаженного мозга.

– Литература – это не просто смакование со-звучий и приапова игра фонетических соответствий, доводящая до обморока пуританку семантику... – отхлёбывая из дулёвского фарфора чай, вёл беседу Петруша.

И в этот миг на террасу с отважной улыбкой ступил Иван. Жена попечителя ахнула, попечитель, отвалиясь на спинку плетёного кресла, радушно отворил лиловые объятия, Петруша взял под отсутствующий козырёк, а Таня сказала:

– Спасибо за иллюстрацию, – и, скользнув взглядом от кадета к филологу, развила Петрушину мысль: – Да, литература – это ещё и война, блестящая война, дух которой неизбывен.

Вслед за тем Таня слизнула с губ крошки земли, легко поднялась из кресел, смахнула ладонью в открытое окно пленённую крапивницу и, подойдя к Ивану, с преступной рассеянностью поцеловала его отнюдь не по-сестрински. Мятное дыхание, витавшее у её мягких, почти жидких губ, по горло напоило кадета отравой. Конечно, это была провокация: уже неделю Легкоступов-сын демонстрировал явные признаки влюблённости, и беспечная проказница решила разом поиграть с обоими. Трудно поверить, но в итоге эта злая шалость кровью умыла империю и ввергла народы в бездну такого ужаса, какой вряд ли рассчитывал отыскать на палитре жизни-ада безвредно умствующий предводитель.

Благодаря развитому мозгу в своих притязаниях Петруша был несомненный принципал, но натуре его не хватало решимости и не то чтобы отваги, а той пьянящей жестокости, которую солдаты всех времён называли бесстрашием. Кроме того, был он невелик ростом и слегка страдал избытком плоти. Иван же, напротив, помимо ладной фигуры, отменно укреплённой принудительной гимнастикой, имел натуру непреклонную и дерзкую, а что до образованности и красноречия, в которых он уступал разумнику Петруше, то ему удавалось успешно покрывать недостатки восприимчивым умом и интуицией. Среди товарищей по корпусу Некитаев считался верховодом, что имело под собой законное основание, подтверждённое

недавней полевой экзаменацией, после которой он был определён в кадетскую роту Воинов Блеска, считавшуюся элитной в сравнении с подобными подразделениями Воинов Ярости, Воинов Силы и Воинов Камня.

Медвяный яд Таниного поцелуя, её последующие слова, касания и взгляды – все эти до невинности изящные фигуры соблазнения и умыкания ещё свободных от любви сердец сделали жизнь Ивана невыносимой. Он был уверен, что сходит с ума (хотя бытует мнение, будто безумец всегда неосведомлён о своём безумии); он чувствовал себя пойманным, как давешняя бабочка, в незримые, ласковые, неумолимые тенёта – он больше не принадлежал себе; сонм болтливых демонов устроил балаган в его сердце – во всё горло, глуша друг друга, бесы держали неумолкающие, ранящие речи, каждый свою: отчаяние, ревность, стыд, позор, оставленность; любое слово о сестре из посторонних уст вызывало в нём трепет, слабость и жар; ему казалось, что кто-то отменил привычную донине действительность, ибо всё в мире стало иным – предметы, звуки, запахи, слова и лица; он мелочно соперничал с вещами, которым сестра его намеренно или невольно уделяла хоть сколько-нибудь внимания, – он болезненно подозревал, будто она избегает его, будто пустячки и досадные мелкие случаи интригуют против него, препятствуют забвению, успокоению, бесчувствию; предельное одиночество, не человеческое – мистиче-

ское, дающее силы наперекор всему упорствовать в своём заблуждении, нахлынуло и поглотило его; внезапно он обнаружил в себе способность к плачу; и наконец, ему было доподлинно известно, что только он один сумел увидеть Таню такой, какова она была в действительности, и никто больше не способен на эту пронзительную непогрешимость взгляда. Ну вот, если теперь сказать, что чувства Ивана стали сильнее его, это уже не покажется вздором. В осязаемых до дрожи снах и в ярких дневных грёзах он, великий полководец, встречал луноликую фею со стальными глазами в альковах спален покорённых городов – самых гнусных, самых развратных, самых желанных спален. Он и прежде бредил войной, но теперь Танин образ неизменно вставал перед ним из пламени пожаров, и леденящий ужас смертельной опасности обрёл для него её лицо. Иван бежал от наваждения в лес, в поля, на дальние охотничьи мызы, стараясь избыть, развеять неумолимый морок, но стоило ему возвратиться в усадьбу, как тёмная кровь любви закипала в его жилах и выжигала разум. К середине лета дошло до того, что в помыслах своих он готов был в смерти искать избавления от Тани.

Петруша тем временем с неумелым усердием продолжал куртизанить, упорно не замечая подпалённого рядом пороха, – странности в поведении кадета он относил отчасти за счёт казарменного воспитания, отчасти списывал на братские чувства, в число которых, по его понятиям, входила

ревность к воздыхателю сестрицы. Однако Иван, в ответ на несестринский поцелуй, и ревновал не по-родственному. То есть его заботило не соблюдение ухажёром предписанных приличий, а досадный факт существования соперника в полном, не увечном виде. Опасности Петруша не чувял и однажды на свою беду решил смутить душу кадета теологической беседой, превозмогавшей рамки преподанного в корпусе катехизиса. В тот день они вдвоём купались в озере. За завтраком Петруша выпил два бокала каберне, и ему хотелось блистать.

– Ты, должно быть, заметил, – растянувшись под солнцем на камышовой циновке, небрежно предположил Легкоступов, – что Христос не даёт инструкций, как следует поступать вслед за капитуляцией второй щеки. Не говоря о том, что печень у человека и вовсе одна... Поэтому я не слишком отхожу от христианства, утверждая: если тебя звезданули по щеке – подставь другую, но потом непременно оторви обидчику голову. Словом, я хочу сказать, что Бог скорее личность, нежели абсолют, одновременно вобравший в себя плерому гностиков, эн-соф каббалистов, праджню махаянистов и стихию света манихеев.

Лежавший рядом Иван безмолвствовал.

– Берись доказать, – дерзко заявил Петруша, – что Бог не вездесущ, не всемогущ, не всеведущ и не всеблаг, а стало быть, не слишком от нас с тобой отличен.

– Не верю, – с военной прямоотой возразил Иван.

– Отчего же, изволь: Бог, сотворив мир и всё сущее, то есть создав пространство вне себя, тем самым ограничил себя, ибо находится вне созданного им пространства. Следовательно, Бог не вездесущ.

– Чушь, – отрезал Некитаев.

– Вовсе нет. Ведь Бог добр. Будь Он вездесущ, Он был бы и во зле, и в грехе, а это не так.

Иван приподнялся и сел на циновке, по-турецки поджав ноги. На груди его, рядом с нательным крестиком, покачивался на сплетённом из цветных шёлковых нитей шнурке золотой амулет в виде славянского солнца с короткими и толстыми, как кудри, лучами.

– Далее, – как по писаному продолжил Петруша, – создав или допустив время, явление, так сказать, самостоятельное, Бог вновь ограничил себя, ибо Он не может уже сделать бывшее небывшим. Следовательно, Он не всемогущ.

– Но это не так, – возмутился кадет Некитаев.

– Это так, потому что Бог милостив. Будь Он всемогущ и не исправь зла сего мира, то Он являл бы нам не сострадание, а лицемерие.

На загорелом лице Ивана проступило чувство неопределённого качества.

– И наконец, – снисходительно подытожил Петруша, – сотворив души, наделённые свободной волей, Бог оказывается не в силах предугадать их

поступки, иначе воля была бы не свободной. Следовательно, Он не всеведущ.

– Не знаю почему, но это не так, – угрюмо заупрямился Иван.

– Это так, ибо Он благ. Будь Бог всеведущ и знай злые помыслы людей, готовых сознательно предаться греху, Он не допустил бы греха. – Петруша шлёпнул на плече треугольного слепня. – Если же тебе угодно настаивать на том, что Бог всеведущ, то придётся признать, что Он не всеблаг. Ведь люди тогда, следуя Божьему промыслу, не могли бы избежать греха и поступить иначе, чтобы не нарушить Его волю. Но в таком случае за все деяния и прегрешения людей держать ответ перед Богом должен сам Бог.

Посчитав, что продолжение беседы в том же духе будет, пожалуй, уже избыточным бахвальством, дипломированный филолог Пётр Легкоступов встал с циновки и, потрогав свои горячие плечи, предложил окунуться. Иван остался недвижим. В голове его недолгое время происходила какая-то трудная работа, проделав которую он тоже поднялся и легко двинулся за Петрушей к озеру. Пробитая солнечным светом, который не то волна, не то поле, не то сонм корпускул, прибрежная вода казалась рыжеватой. Ничего не подозревающий Легкоступов, спугнув стайку водомерок, зашёл в озеро по грудь, что удалось ему за три с половиной шага, и тут настигший его Иван невозмутимо и по-военному чётко продемонстрировал усвоенный урок.

Взяв в кулак волосы на затылке Петруши, кадет Некитаев решительно окунул голову соперника в озеро, вода которого, по непроверенным местным слухам, считалась целебной. Извергая пузыри и поднимая придонную муть, Легкоступов забился и засучил в воде руками, однако Иван держал жертву крепко. Когда Петруша обмяк и пальцы его перестали цепляться за руки и ноги мучителя, Некитаев вытащил едва живого герменевтика на берег.

Стоя на карачках, Легкоступов довольно долго кашлял, выкатывая из орбит красные глаза, хрипел и производил ещё какие-то рвотные движения и звуки, при которых из носа и рта его хлестали потоки целебной воды, сдобренные каберне и тягучей желчью. Наконец, насилу оправившись, Петруша немощно растянулся на траве и судорожно прошипел:

– Дрянь!.. Ублюдок!.. Я же утоп!

Но Иван был мрачен и убедительно серьёзен.

– Пусть за то, – хмуро рассудил он, – Всеведущий сам с себя взыщет. Разве не так выходит? – В глазах кадета не было никого – ни зверя, ни человека. – Запомни, Легкоступов: я знаю, что кровь во мне стала чёрной. Кровь во мне переменилась, и теперь мне всё можно. О Тане забудь. Ты понял меня, Легкоступов?

Петруша понял. Он ещё не отдышался до конца, и взгляд его был мутным, но он всё понял.

– Ты же брат ей... – вышла из него задохнувшаяся мысль.

– А впредь давай устроим так, – предложил Иван, – я буду делать как захочу, а ты будешь объяснять, почему я поступаю правильно.

Как ни странно, эта мрачноватая шутка со временем преобразилась в некий зловещий постулат, действительно определявший суть одного из уровней их отношений. Однако это случилось потом. Теперь же Петруша подхватил свою одежду и, бормоча довольно банальные ругательства, на нетвёрдых ногах устремился к дому. Иван остался на берегу. Он сидел неподвижно над мерно бликующей гладью, а из воды жёлтыми бисеринами глаз долго и неотрывно смотрела на него узкая уклейка. Если и было сейчас в Иване что-то от солнца, которым он когда-нибудь намеревался явиться державе и миру, то это было солнце в затмении. На него легла тень безумия.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА